

Игорь Дедков и «годы великого перерыва»

Мож. новости. — 1998. — 16 авг. — с. 28

Дневники известного литературного критика Игоря Александровича Дедкова (1934 — 1995), в годы «перестройки» постоянного автора «МН», начало которых «Новый мир» опубликовал в 1996 году (№ 4 — 5, записи 1953 — 1974 гг.), дошли до поры апофеоза застоя: в 5 — 6-м номерах «МН» за 1998 год опубликованы материалы, относящиеся к 1976 — 1980-м годам.

Место действия — по-прежнему Кострома, где Дедков жил и работал с 1957 года, после того как окончил журфак МГУ. По уму и таланту должна была следовать аспирантура и московская жизнь литератора. Но что-то не связалось; и вот Дедков на тридцать лет «брошен на низовку». Помню, как в семидесятые годы, когда я читал его статьи, всегда ощущал несуетность и предельно возможную по тем временам неангажированность, попытку идти в рассуждениях от реальной жизни, а не от литературных схем, физические ощущения дистанцированности автора от центра, от придворных писателей.

Впрочем, дневники интересны не только как описание закулисной стороны (около)литературной жизни (этого в дневниках как раз мало: коротенькие замечания вроде того, что Феликс Кузнецов боролся с вдовой Вирты за дачу и победу), но и как материал для понимания жизни и нравов российской провинции в 1970-е годы. Естественно, вырисовывается и образ автора — типаж, практически неопределенный в мемуарах последних лет (их пишут в основном тогдашние диссиденты и «неофициалы», существовавшие «вне игры»). Наконец, дневники Дедкова дают много важного материала для сопоставления 1970-х годов с нынешним временем, позволяя вывести особенности времен горбачевской «перестройки» и ельцинских «реформ» из неистребимых (вечных?) черт советской ментальности. Специфическая социальная позиция автора сильно способствовала тому, что дневники стали важным документом по истории советской и постсоветской культуры. Звучит высокопарно и не в стиле Дедкова, но объективно это так. Дневник — о жизни, и не только тогдашней, уже далекой, но и сегодняшней.

Мы привыкли видеть в семидесятых два типа, в пределе разведенные по двум концам социальной оси: власть — диссиденты (=антивласть). То есть на одном конце оси — люди, которые находились у власти, либо, обслуживая ее, от нее получали блага. На другом конце — люди, которые жили независимо от государства в духовном, а иногда (очень редко) и в материальном смысле и всякую неудачу власти встречали злорадством, никак себя с СССР не идентифицируя (для идентификации на крайний случай оставалась идеальная «Россия»).

Дедков являет собой третий, совсем еще не изученный вариант. Вроде бы до какого-то момента он считался вполне «своим» (на журфаке МГУ «чужих» не было), но потом выпал из обоймы. И тогда, как у Холстомера, у него открылось дополнительное зрение, он стал ощущать себя «пегим», думать, анализировать, замечать то, что у людей его круга за ненадобностью замечать не принято. Время-то было то самое, что описал Салтыков-Щедрин в начале «Современной идиллии» (1877): нужно «годить», то есть «приноровиться, что ли, уметь вовремя помолчать, позабить кой об чем, думать не об том, о чем обыкновенно думается...».

Дедков именно «думает не об том». Он не стал диссидентом, хотя мысленно противопоставляет себя власти («...Нам просто не дали и не дают жить в полную меру своих возможностей. Они не нужны тем, кто держит в своих руках власть... Всё недостаточно ей послушно отнесено и ограничено и ходу не получит»). Но при этом эмоционально переживает хамство первого секретаря обкома, глупости, которые совершаются в стране, повальное пьянство, экономические неудачи и т.п. Ему стыдно за загнивающего Косыгина, посетившего Кострому («Грим был заметен, и Косыгин выглядел (цвет лица) лучше всего окружения. Но было в гладкости и розовости что-то физически неприятное. Что-то от образа человека, убранного в последний путь»). Стыдно за жену персека Скулову, дравшуюся из-за шубы и гонявшую самолет в другой райцентр за предметами дамского туалета, стыдно за праздную жизнь писательского руководства, за повальный дефицит. Зрение обострено, но, наблюдая откровенный и наглый фарс, Дедков не смеется, как делали тогда многие, а почему-то чувствует себя ответственным за все происходящее, чуть ли не идентифицирует себя с властью и стыдится, и бессильно тоскует по идеалу: «Сегодня шли из института вместе с Юрой Лебедевым. Разговаривали на вечную тему: что будет дальше? Я сказал, что русская интеллигенция еще сто лет будет перетирать веревки» (9.12.77).

Вчитываясь в дневники, скоро понимаешь: источник стыда — в противоречивом и промежуточном — между властью и народом — положении интеллигента (к тому же Дедков и работает в костромской «Северной правде» — местном привоном ремне от партии к массам), которое Игорь Александрович остро ощущал. Ощущал свою унижительную зависимость от власти: «Художники — как птички, летающие с ветвей на ладони власти, которая подкармливает, и чувствительно вздыхает, и умилется. А потом ладонь сжимается — хватать».

То, что критик подкарауливал в себе, оказывалось гораздо тоньше и актуальнее тех романов, которые надо было рецензировать. Отсюда роль дневника: не просто отдушину, но хро-

нически зафиксированная «трагедия интеллигента», которая мучила своей невысказанностью. Литература — даже несмотря на присутствие в ней Юрия Трифонова — материала для таких высказываний практически не давала. Да и всегда чуткая цензура... И как же мало, по сравнению с тем, что его на самом деле волновало, Дедков высказал в своих статьях. По существу, его дневник — единственный документ, иллюстрирующий трагическое положение служилой творческой интеллигенции (а все писатели фактически служили по министерству, которое именовалось писсоюзом).

Жизнь Костромы, зафиксированная нашим автором, не воспринимается как нечто своеобразное. Тотальный дефицит еды. Те же, что и везде, собрания, лозунги, отправка интеллигенции «на картошку», повестки из военкомата, страх откровенных разговоров с посторонними. Та же вездесущая «гэбуха», которая держит в узде строптивцев, та же «роль партии»... «Выпускающий «Северной правды» рассказывает, что ему дано редактором указание не допускать переносов фамилий Брежнева и Баландина (первого секретаря обкома). На собрании секретарь парторганизации рассказывала, как была оценена колонна демонстрантов-архивистов на празднике 7 ноября. В обкоме были сделаны такие упреки: когда был провозглашен с трибуны лозунг в честь архивистов, колонна откликнулась недружно и слабо; во-вторых, очень низко несли плакаты и портреты».

Гложет ужас бессмыслицы существования. «Зачем всё?» — повторяет Дедков вопрос Алеся Адамовича, ощущая себя улиткой на склоне, ползущей неведомо куда без надежды доползти даже до иллюзорной цели. Размышления над этим вопросом (см. записи конца июля — начала августа 1980 г.) выводят Дедкова к «шустрым» — тем, кто сделал ставку на приспособление и приобретение. «На наших глазах эти люди все более развертываются, их становится все больше, и они уже не стесняются». Зачем живут они? А для того, чтобы «развлекаться, брать и брать. Они и учатся, чтобы научиться лучше брать, больше брать, пригребать к себе».

Так уж получилось, что Дедков, внимательный ко всякой новизне, описал многие черты, которые проявились в полной мере спустя десятилетие, в другой уже стране и другой (но на глубине — все той же самой) жизни. Просто скрывавшееся до времени в складах советского лицемерия, в недрах «коммунистического» режима вылезло наружу, определив закон, мораль и обычай новой жизни. Дневник Дедкова позволяет увидеть эту преемственную связь с особенной наглядностью.

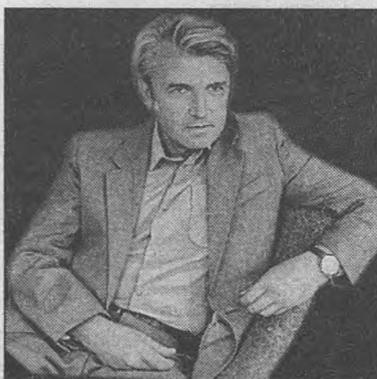
А вот любопытное замечание Дедкова о специфике «обкомовских людей»: «...Как прикрытие, как фразу, воспринимают они... все настоящие на политике разрядки. И надеются, что под покровом разрядки идет вседневная работа и ничего измениться не может». Точно так же вос-

принимаются в последнее десятилетие и все «новые мышления» и «углубления реформ» — всего только как тактические уловки, как ширма «для проведения давно заведенной политики». Вряд ли в этом смысле что-то изменилось в Костроме (и всей прочей глубинке) с октября 1977 г., когда Дедков писал об этой инерции.

Аналогично и с антисемитизмом, который Дедков с отращением наблюдал с близкого расстояния еще почти в зародыше, когда «тусовался» в Москве в журнале «Наш современник», в издательстве «Современник» («Нигде в Москве (в редакциях) я не чувствовал себя так плохо, как у них... Им бы «кулачное право» вместо всех прочих прав, и тогда бы они навели порядок и выяснили бы ваш состав крови и наличие еврейской примеси»), встречался с Селезневым и Байгушевым, читал отвратительные писания Машовца...

Все то, что тогда было маргинальным, гнусно шушукало по углам, казалось противоестественным и временным и лишь намекало на поддержку со стороны КГБ (Байгушев ему твердит, но Дедков в это не верит), постепенно (и при помощи именно КГБ!) приобрело статус законного, легализованного явления. Собственно, в этом и заключен смысл демократии — чтобы групповые интересы из недр «народной толпы» получали возможность выхода наружу. Важно, однако, что выходит наружу и с чьей помощью. В результате рисунок нашей демократии (идеологической, экономической) оказался целиком predetermined ситуацией застоя, схваченной Дедковым в самых существенных деталях. Все получилось до боли знакомым, хотя вроде бы и другим, потому что отделилось в старые формы, которые Дедков захватил в момент возникновения. Сознание всего этого добавляет пессимизма к и без того пессимистическому тексту дневника. Два пессимизма сливаются.

«Примириться с состоянием нашей общицы российской жизни было бы невозможно, если б не само ощущение продолжающегося бития, которое мы — многие российские люди — научились ставить и ценить выше всего». Эту запись Игорь Дедков сделал ровно 20 лет назад — 12 августа 1978 года, вернувшись из Москвы («...Значительность, тщеславная борьба, литературное чиновничество, подогреваемый постоянно антисемитизм и просто толчея»). А ведь технология примирения с жизнью, преодоления отвращения к ней снова актуальны.



Игорь Дедков